

Константин Комаров

Безветрие

«Первый класс»
Санкт-Петербург
2013

Комаров К.

Безветрие: Стихотворения. – «Первый класс», Санкт-Петербург, 2013. – 120 с.

ISBN 978-5-903984-77-0

Издание подготовлено и выпущено при поддержке и на средства фонда финансовой поддержки и содействия развитию науки, культуры и искусства «ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ».

Константин Комаров (1988 г.). Родился и живёт в Екатеринбурге. Активно публикуется как поэт («Урал», «Нева», «Волга», антология «Современная уральская поэзия» и др.) и литературный критик («Новый мир», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др.). Лонг-листер премии «Дебют» (2010), лауреат премии журнала «Урал». В своей поэзии совмещает лирические и авангардные традиции. Книга «Безветрие» включает в себя как новые стихотворения, так и вошедшие в предыдущие три сборника автора.



ISBN 978-5-903984-77-0

© Комаров К., текст, 2013
© Первый класс, оформление 2013

* * *

Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу:
о тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я в бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

* * *

Так ключи живут в кармане,
в гардеробе – пальтецо,
так обречены трамваи
на трамвайное кольцо.

Так сминают origami,
так в тепле стлевет плед,
так снежинка под снегами
выплакала свой скелет.

Так снимают маску с маски,
так идут среди гурта,
так скрипят без всякой смазки
ржавые ворота рта.

Так безликое хилеет,
так влетает моль в плафон,
так диктуют ахинею
в ненадёжный диктофон.

Так в дыму мучном и тучном
пеленают пустоту,
так бухают, потому что
не горели на спирту.

Так терзают мыслей тубик,
передёрнув на зарю.
Так не любят. Так не любят.
Так не любят – говорю!

* * *

Юрию Казарину

Двухцветной пешеходной зеброю
прозрачный путь пересекло
стекло, смесившееся в зеркало,
забывшее в себе стекло.

Но не поверенные алгеброй
слова ещё ищи-свищи
по тем краям, где крылья ангелы
распахивают, как плащи,

где звуки, что ещё не розданы,
скользят утраченным стихом,
не ярче дыма папиросного
в свердловском воздухе сухом,

и неба минного, минорного
им никогда не миновать,
ведь всё, что не поименовано,
им суждено именовать.

Губам не каждым тайно вверено,
как масло, растопить число,
чтоб дерево сквозь слово «дерево»
обычным чудом проросло,

чтоб снов серебряные вентили
вели к изнанке след витой
и чтоб дышала лунка светлая
в воде, измученной водой.

* * *

Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ.

И ей навстречу – световая –
из неопределённых мест
идёт диагональ другая
и образует с нею крест.

А ты гадаешь всё: при чём тут –
подкожную гоня ртуть –
не те, кто ими перечёркнут,
а Тот, кого не зачеркнуть.

И засыпаешь ненароком,
размалывая все мосты,
а тело чует за порогом
уже нездешние кресты.

* * *

Словес обмыленная пена.
Картон. Кретины. Карантин.
И Антуана Рокантена
я вижу в зеркале один.

По амальгамной гулкой гальке
течёт бескостная вода,
и одинокий Гарри Галлер
его сменяет иногда.

Прекрасней всяческих Версалея,
там лето плавится в огне,
за ним иной Артюр мерцает,
не посторонний только мне!

Всё, что не модернизм – репейник,
всё – майонез, гламур и глум.
Но – мёртвые без погребения!
Но – в Дублине пропавший Блум!

О, зеркало, ты – вопль команчей.
Ты духа нервного редут!
Не бредь по людям, книжный мальчик:
к тебе другие не придут!

Детское

В те времена я не начал ещё метаться,
не осушал бутылки, в воздух бросал подушки.
Слова такого не знал ещё – пигментация,
но радостный был, когда по весне – веснушки

рожу мою покрывали обильным слоем,
«Солнцем присыпало», – мне говорила мама.
Доброе – было и было сильней, чем злое,
было и злое, но – несерьёзно мало.

Люди ещё не пахли резиной жжёной,
и раздражали только комочки в каше.
Думал: девчонку встречу и сразу – в жёны,
и сыновей чтоб двое – Петя и Саша.

Ел апельсин, катался в ковёрном ворсе,
плакал повсюду, красивые строя позы,
если бы знал, что потом не сумею вовсе,
был осмотрительней бы и сэкономил слёзы.

Песенки пел, буквы писал в тетради,
как-то влетел в берёзу – на россыпь искр, –
зайчиком был на утреннике в детсаде
(так и остался, сука, пуглив и быстр).

Лез на деревья, корчил прохожим рожи,
кошкам хвосты обматывал липким скотчем...

С рифмой не повзрослеешь, но только всё же
как-то не по себе мне последнее время очень.

* * *

Смотрели, и не моргали,
и видели свет и боль,
так режут по амальгаме
своё отраженье вдоль

и делают поперечный
контрольный святой разрез,
и волчьей и птичьей речью
напичкан кирпичный лес.

Да кто я, стихи диктуя
себе самому впотьмах?
Так первого поцелуя
боится последний страх.

Так плавится мозг наш костный,
на крик раздирая рот,
так правится високосный,
вконец окосевший год.

Так ночью безлунно-сиплой,
когда не видать стиха,
бесшумно на землю сыплет
небесная требуха.

По скользкому патефону
скребётся игла зимы.
И в зеркале потихоньку
опять проступаем мы.

* * *

До тишины слова убыстрив,
до самых ледовитых бездн,
не сможешь совершить убийство –
равно, с приставкой или без.

И не натравишь стаю гончих
на вымерзающий свой след,
поскольку этим не закончишь
того, чему начала нет.

Найдётся свой реаниматор
на каждый полумёртвый слог.
Январь всегда реальней марта,
в морозе лучше слышен бог.

Поэзия идёт за кровью,
но, без карнизов и петель,
ты только форточку закроешь,
чтоб стало в комнате теплей.

* * *

Слово лежит во рту,
будто бы лазурит.
Пламенем на спирту
не говорит – горит.

Вплавлена в плексиглас
сонная немота.
Тонуший в плеске глаз
не различит цвета

каменных мотыльков,
дымчатых облаков,
радужных угольков
и золотых песков.

Но стрекотанье звёзд
радует дурачка
до закипания слёз
на глубине зрачка.

Он подносил ко рту
карту кривых зеркал
и целовал их ртуть –
плакал, не умолкал.

Но наконец, умолк...
И показалось мне
в страшной, как серый волк,
сказочной тишине

звоном пустых кольчуг,
каплею на ноже –
что я ещё молчу,
но говорю – уже.

Простыни

I

Простыня – прямоугольный кусок ткани, употребляемый для застилания постели.

М.

Промахивая в два прыжка ступени,
не замечая текстов на стене,
мы погружались в тихом исступленье
в солёные пустыни простыней.

Они последним были нам приютом,
сквозь них всё норовили мы врасти
в тот мир, который лишь обэриутам,
быть может, получилось обрести.

Покуда гнозис замещал экфрасис
на законной бешеной земле,
нам здесь мерцал единственный оазис
бутылкой минералки на столе.

Секунды измерялись в киловаттах,
рассвет смеялся, как заклятый враг,
и нас с тобой, ни в чём не виноватых,
выбрасывало в пыльный полумрак

размытого, растерзанного утра,
несвежего, убийственного дня,
и солнце полыхало, словно урна,
но шла лишь вонь от этого огня.

Мы наспех недоверчиво прощались,
сворачивая в шёпот спелый крик,
и амальгамы с ртутными прыщами
являли мне чужой бесхозный лик.

Качались жизни чёртовы качели,
скрипели санки деревянных снов,
и вырождалась, как в сухарь – печенье,
тоска в потоки беспризорных слов...

Когда ж мне скажут божи и холопы,
что весь свой век я бредил по нулю,
что рай земной по дурости прохлопал –
я им простынки эти предъявлю.

II

Простыня – длинное, сбивчивое письмо.

А. Кот-ву

Напиши мне простыню,
Лёха.
Я тогда не прострелю
вдоха,

я тогда не просльву
рыжим
и останусь на плаву,
выжив.

Напиши мне простыню
нынче.
Хочешь – в духе «просто ню»,
хочешь – Линча.

Лёню там упомяни,
Нину.
Я от этой простыни
не простыну.

А скажу я в смуте дней
тощих –
«Не пиши мне простыней
больше».
Верить мне тогда не смей
ни на йоту
(спутал всё зелёный змей
идиёту).

Нас с тобою небеса
вздули.
Почему б не написать?
Хули?

Напиши мне простыню,
Гюльчатый, а?
Я над нею постою –
почитаю

да глядишь и прозвеню
свежим словом.
Напиши мне простыню!
Будь здоровым!

* * *

Переключить рычаг,
покинуть календарь.
И можно не кричать,
раз подошёл январь.

Случаются раз в век
такие январь,
не жди, не падай вверх,
и букв не говори.

Здесь птицы языком
царапают металл,
не я ль тебе тайком
об этом нашептал?

А памяти костёр
сжигает имена,
щетиною растёт,
но тщетно – тишина:

Харонова весла
не страшен взмах немой,
коль веришь, что весна
приходит за зимой.

* * *

Выбивая, как пыль из ковра,
исковерканный голос из горла,
я ничем не могу рисковать,
кроме речи, и это прискорбно.

Одинаково звук искажён
при грудной тишине и при оре,
и поэтому лезть на рожон
бесполезно уже априори.

Но пока пика звука остра,
между строчек не может остаться
языку посторонний экстракт
из бесстрастных и мёртвых абстракций.

И когда, как пожарный рукав,
размотается стих в разговоре,
я впадаю в него, как река в
голубое крахмальное море,

чтоб уже утонуть без обид
в этой мягкой и призрачной каше,
и помехами в горле рябит
неизвестный божественный кашель.

* * *

Всё то, что мне ещё не спелось,
всё, что на языке горчит,
я вижу на пустом дисплее
апрельской пиксельной ночи.

Пока трясёт глухие грани
моя неверная рука,
на небе, словно на экране,
плывут, как титры, облака.

Дорога стелется скатёркой
всё в деревянную кровать,
а что метафоры затёрты,
мне с января ещё плевать.

На скромные запросы птичьих
у словаря беру взаймы.
И вновь моя весна почти что
неотличима от зимы.

Я наблюдаю, полумёртвый,
очередную смену вех.
И дворники бегут, и метлы,
как флаги, поднимают вверх.

Но я живу лишь вечерами
и, набросавши стих вчерне,
смотрю, как луны-ветераны
сияют о своей войне.

Страницы мудрые, как старцы,
листаю в тишине ночной
и сочиняю эти стансы,
не претендуя ни на что.

* * *

Среди равнин всё реже взгорья,
мне эта местность не нова,
беспечно зреют в подмозговье
провинциальные слова.

И мил мне, как резной наличник,
их тихоструйный перешёпт,
когда сию я без наличных
и никуда не перешёл –

ни через Рубикон, не через
ребристый времени порог,
и чёртовы скрипят качели
(раскачиванье – не порок,

нет, лишь невинная забава
для одинокого ума).

Мне жаль, что раньше я взаправду
считал, что мир – это тюрьма.

Нет, мир – это свердловский дворик,
его обычен колорит.
Здесь пьёт палёнку алкоголик
и с небесами говорит,

здесь по заведомым дорожкам
идут неведомо куда
сплошные люди. И нарочно –
висит. Не падает звезда.

* * *

За вычетом нервных и злых многоточий,
бумага, лежащая рядом, пуста.
И мир невозможен, и ветер полночный
мне машет в окошко посредством куста.

И только жирафова шея торшера
склонилась ко мне, разгоняя тоску,
но утро наступит и высшею мерой
рассветное дуло приставит к виску.

По зрению полю секунды, как зайцы,
бегут торопливо, ушами шурша,
и слово гнездится и хочет сказаться.
И скажется – после. И станет – душа.

* * *

Когда ты в чистую страницу
вворачиваешь слова винт,
местоименья прячут лица
и делают глаголы вид

столь глупый и несовершенный,
что совершенней не найти,
и каждой строчки завершение –
начало нового пути

туда, откуда нет возврата –
никак, ни под какой залог –
и это небольшая плата
за то, что ты сейчас замолк

и окунулся в безглагольность,
как будто в прорубь головой,
чтоб, наконец, расслышать голос –
уже практически не твой.

* * *

... И темнота мне в рот дышала,
сквозная, как на море бриз,
и однотожник Мандельштама
блестел, задумчиво-ребрист.

Досаду ускоряла шенью
и жажду воду истолочь
мне данная не в ощущеньях,
а в упущеньях эта ночь.

Пытаясь быть как можно чутче,
я нежно мир именовал,
но в каждом слове – прав был Тютчев –
сиял заманчивый провал

в глухие недра снов солёных,
в их изумлённый чернозём
и недобравшие силёнок
стихи кричали – доползём!

Но голос засыпал. Траншеи.
Молчанья глиною шальной.
Лишь циклопичный глаз торшера
питался этой тишиной.

Так речь в себе самой тонула
и замирала, как рука,
нащупавшая в центре гула
отсутствие черновика.

* * *

Утром похмельным встать,
выпить стакан воды.
Если бы точно знать,
долго ли до беды,

если бы руку сжать
чью-то, (но нет, увы) –
можно не уезжать
на берега Невы.

Если б хватило слов,
если б достало нот,
я б тогда был готов
плоть положить на плот

и по реке поплыть,
путая имена,
и никогда не быть
в этом, где из окна

через завесу штор,
перемыкая рот,
солнца немой укор
прямо в сплетенье бьёт...

Утром похмельным лечь,
выпив стакан ещё,
кем-нибудь я за речь
буду прощён-отмщён,

ну а не буду – что ж:
двинусь куда-то нах –
на ледяную дрожь
в сломанных зеркалах.

* * *

*Тупун на языке –
сухая кровь предмета...
Ю. Казарин*

Мерцает вечности плавник
над побледневшими домами,
и спят дома, и люди в них
ещё не по себе не сами.

На подоконнике моём
кипящий кофе паром дышит,
и беспокойный окоём
магнитит мой зрачок остывший.

Черты нездешнего лица
в кофейном чудятся тумане,
а сигарета с утраца
врачует синяки в гортани.

Сквозь неприкаянный рассвет
проходят рифмы строем пешим,
и растворяется предмет
в слюне, на языке вскипевшей.

* * *

Пугливый дождь идёт по зданьям,
по черепичным черепам,
но будущее с опозданием
предсказывает телепат,

ведь в лето прочно въелась осень,
и в Лету вылилась Исеть,
ответ, повиснув на вопросе,
готов сто лет на нём висеть.

И даже бирка в гардеробе
совпала с биркой на ноге,
но мир, рассыпанный на дробь,
не соберётся вдалеке –

в грядущем вылитом июне,
что расцветёт, теплом сочась,
где вряд ли будет мне уютней,
чем здесь потом, чем там сейчас...

* * *

Молчанью не нужен рупор.
Смотри на меня в упор!
Смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

Молчи и смотри. Готово.
Не наша с тобой вина,
что не различает Слово
предметы и имена.

В безумии волн фотонных
теряется слова след.
Насколько мудрец – фотограф,
настолько же глуп – поэт.

Но если не станет света
с последнею головнёй,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовнёй.

Ни кисти мазок, ни нота
не смогут помочь – не ври.
Оставшаяся на фото,
со мною поговори.

* * *

Беспечная, усталая,
поскольку так припёрло,
скрипит строка суставами
и продирает горло,

и голоса увечные,
ужасные, драконьи,
грозят пугливой вечности
языческим дрекольем,

растёт из кучи мусора,
из перегноя дней
божественная музыка
танцующих теней,

юродствует, и корчится,
и просится в слова,
и никогда не кончится,
пока душа жива.

* * *

Так пишут в речке вилами
о гибели вещей:
казнить нельзя помиловать
без запятых вообще.

Здесь запятых не надобно
за миг до тишины,
раз выдоха параболы
творцу разрешены,

а точки нам заказаны,
как пустоте зажим,
извечно недосказанный
язык незавершим.

Скребётся ноготочками
новорождённый стих,
мы ставим многоточия,
по сути, только их...

* * *

Отсутствие вещей ещё терпимо,
страшнее, если нету вещества,
и за окном моим куда-то мимо
пустого мира падает листва.

На потолке гнездится что-то злое,
от вакуума страдает голова,
в тетрадах толстых под чернильным слоем
беспечно растворяются слова.

И толку ни на грош душе нетленной,
когда её во лжи не укорят;
капроновая тишина вселенной
абстрактна, как и всякий звукоряд.

И я уже не ощущаю пластырь
на пальце, что об воздух раскровил,
с небес осенних вниз стекает плазма,
бессильная земле прибавить сил.

Я поглощён привычным этим адом,
но есть ещё единственная нить.
Как хорошо, что ты со мною рядом:
тебя-то уж никак не отменить...

* * *

Как элегический дистих
рот выдыхает дым,
где-то под снегом листья
вторят словам моим.

Чувствую я воочью –
что-то всерьёз пойму
этой огромной ночью
с осени на зиму.

* * *

Я растворяюсь, как помешанный,
как дверь в пространство, без звонка,
как сахар, ложкою помешанный
в стакане злого кипятка.

Осталось только сны нанизывать,
сетчаткою крошить цвета
иль падать с ленточки карнизовой,
как глупенькая школога.

И ржою ржёт товарищ маузер,
не начиная монолог,
когда глазами миккимауса
я пялюсь в вечный потолок.

Но стих терзает недописанный,
где все слова обнажены,
как меж пунктирными дефисами
слои стыдливой тишины.

Не то чтоб это так несправедно,
но ты, танцующий в раю,
ты не поймёшь меня неправильно,
поверив правильность свою.

Ведь не для форсу, не для почестей
поэты, дольных дней не для,
спокойно дошли в одиночестве
и отторгала их земля.

Но пусть не этот год закончится
на середине февраля...

* * *

Крошатся зубы, закисает дух,
мышление садится на измену,
и стаи экзистенциальных мух
с разлёта разбиваются об стену.

И я бы прекратил свой мат и лёг,
но мне с землёю рассчитаться нечем,
раз слова безучастный мотылёк
летит на пламя неизвестной речи.

«Не изрекай меня, но нареки», –
шипит мне жизнь, кровавая, как ростбиф.

И если я умру, то вопреки,
а не благодаря подобной просьбе.

* * *

Ни пуля и ни лира ведь –
кручёный угловой,
не мной манипулирует
безумный кукловод.

Не мною искалечены
стада пугливых букв,
рядами бесконечными
идущие из бухт

пустой кипящей полости,
портовой, ротовой,
ещё не ставши полностью
ни небом, ни травой –

способные, наверное,
в агонии земной
творить своё творение
не мной, не мной, не мной!

* * *

Местоименя биполярны,
их биполярность такова,
что на густые капилляры
расслаиваются слова.

И речи сумрачной увечья
настолько лживы на свету,
что, опустив противоречья,
упрёшься в злую правоту.

Суров её красивый панцирь,
когда она себя творит.
И стынет истина меж пальцев
усталых ноющих твоих.

А по измученному стону
схватить несложно на лету,
что, как ладья, ладони тонут
и одеваются в латунь...

Стихии уподобясь водной,
о, речь больная, – наяву –
приди, умри меня сегодня!
Я завтра снова оживу.

* * *

Утром утрирован, вычерчен вечером,
мимо себя прохожу незамеченным.

Фантики смыслов, осколки фонетики
и мудаки мне приносят, и медики.

Так, до предела дошедши, отчаянье
в гавань спокойную тихо отчалило.

И ничего-ничего не меняется,
и Ничего-Ничего не мешается.

Только луна по ночам треугольная
глаз мой печалит, как рифма глагольная.

И тем не менее – времечко тикает,
зеркало видит меня и хихикает.

Я никогда на него не смотрю.
Милые, ждите меня к январю...

* * *

Наверно, стоит быть добрее,
поменьше пить, побольше спать
и не считать расподобленье
за окончательный распад.

Сказать себе – ты не дури там, –
и на шелках высоких сфер
метафизичным сибаритом
возлечь навек а-la Бодлер.

Возможно, стоит быть построже,
и память без толку не мять,
и не давать постыдной дрожи
в истерики себя вгонять.

И жизнь покатится по рельсам,
пока не оборвёт её
на розыгрыш первоапрельский
похожее небытиё.

И сложатся годов обрезки
В одно немое не моё.

* * *

«Бессонница, Гомер, тугие паруса...»
В конце концов, всё попадает в списки:
и шмель живой, и мёртвая оса,
вся водка, анекдоты, да ириски.

А что же остаётся? Ничего,
за вычетом протяжных отголосков,
на чернозёмной почве речевой
взрастающих лениво и неброско.

Слова просты, и нет у них фамилий;
как брёвнышки Харонова плота;
но сквозь густой туман полифонии
я слышу, как хрустальна немота

сквозная, и внесписочная тоже;
красноречивей смерти говоря,
она меня когда-то подытожит,
другие звуки заново творя.

Я окажусь в последнем списке списков,
среди джедаев, сов и кораблей.
Ах, ласточка, как ты летаешь низко!
Приклей меня к молчанию, приклей...

Обещание

Возрождая свой слабенький дар,
скорбно просишь людей отвалить,
но из вен стихотворный отвар
потечёт, если их растворить.

Небесам, что синее чернил,
открывается рот, словно зонт.
Тем, кто бритвой себя починил,
капитальный ремонт – не резон.

Не прильнувши к ней кожей своей,
на неё я с опаской смотрю.
Я придумаю что поновей,
по-другому я заговорю.

И когда ордена раздадут
всем друзьям, с кем когда-то бухал,
я, быть может, впаду в простоту,
о которой никто не слышал.

Но пока, карандаш преломив
над листом безупречно пустым,
сочиняю себе прелый миф
да сбегаю в него, как в кусты.

Из «трагедий» варганю рагу
да прогорклую душу тушу,
но когда-нибудь, если смогу,
я ещё о другом напишу.

* * *

Язык, я зек твоей
роскошнейшей тюрьмы.
Мне неудобно в ней,
когда глаза немы,

когда слова пусты,
как сочинённый снег,
и я – сквозь все посты –
решаюсь на побег.

И будет в темноту
смотреть глухой конвой,
и вновь за немоту
осудят никого.

А я – рецидивист –
не приживусь окрест,
и предречёт мне лист
очередной арест.

И будет приговор
нагляден, как плакат,
и проиграет спор
с судьёю адвокат.

А я ввинчусь, как крот,
в потрескавшийся стол
и снова вставлю в рот
свой карандашный ствол.

* * *

Я слышу только ультразвуки
из дальних внутренних уганд
и костные хрящи разлуки
перешабаю наугад.

И – ни стратег уже, ни трагик,
ни прорицатель боевой,
я знаю высыхание влаги
в Вальгалле тела своего.

Какая кровь? Какая сперма?
Раскаялся былой маньяк...
Теперь – сплошной звенящий Лерма
да негасимый мой Маяк.

Но и на этом на пределе –
нелегитимном, нулевом –
я всё же остаюсь при деле,
как при раненье пулевым.

И как бы в горле ни першило
от варева сухих лексем,
я верую, что так паршиво
бывает далеко не всем.

Вот потому и все невстречи,
весь алфавит от а до ю
я сыплю зёрнышками гречи
на темя потемневшей речи,
и время неумело лечит
гордыню горькую мою.

На перекрёстке в летний полдень

Я, не описанный пером,
но вырубленный алкоголем,
стою, усталый как пьери,
тяжеловесный словно голем.

Не так горят. Но перегар
мой чует ли ещё Всевышний?
когда я лезу под удар –
очередной – сквозной и лишний.

И я стою – укоренён
в асфальте, монолитной тенью,
не убежавший от времён
ввиду глухого мелкотемья,

болтаюсь, как в пробирке взвесь,
и всё же не найду причину –
с каких херов стою я здесь,
как памятник – да не по чину.

А рядом нету никого,
или, точнее, кого-то нету,
лишь псевдоангельский конвой
слетается на сигарету.

* * *

Из дому выйдешь. Сквозь людей
пройдёшь – печальный и скуластый,
и в магазине суперклея
приобретёшь. И склеишь ласты.

Смахнув слезинку со щеки,
густой щетиною обросшей,
наденешь вместо них коньки,
но сразу же и их отбросишь.

И, наплевав на дождь и град,
на снегопад и зной палящий,
не в нарды, не в футбол играть
отправишься, а сразу – в ящик.

И выиграешь право петь –
немного глухо и капризно
о том, как сложно умереть
в стране подобных эфемизмов.

Но, приучивши карандаш
к недолговечному покою,
возьмёшь себе и дуба дашь
над недописанной строкою.

* * *

По не вечному этому городу
в никуда утекают слова,
на мою покаянную голову
опускается дня булава,

ибо лживо всегда покаяние,
если с богом есть что поделить,
это как две кумы покалякают
и друг друга пойдут материть.

Так зачем ритуальные кружевца,
если жизнь – вся на два матерка,
если вся философия рушится
от беспечного рифм ветерка...

И приятно аорту простреливать
под пестрядевый этот галдёж,
если прямо из пасти постелевой
ты поэтить пространство идёшь –

непонятный, как идишь, по голому,
не прикрытому даже дождём,
бесконечному этому городу
с неизбежным советским вождём.

* * *

Не послевкусие – изжога,
не послесловие – пролог,
растёт спокойствием из шока,
из немоты мой новый слог.

Но я опять в глухом загуле,
в загашнике и в тупике,
и за столом сижу на стуле,
на пике своего пике.

Рубаху рву, хожу с козырных
да избегаю лишних глаз,
и смерть опять мне в карты зыркнет,
и проиграет в сотый раз,

и выиграет на сто первый,
поскольку смерть всегда права –
всё это нервы, нервы, нервы,
а не «слова, слова, слова».

Слов не хватает и на то, чтоб
сказать: «Привет. Иди сюда».
От этого безмерно тошно,
невыносимо иногда.

Но, слава богу, невносимо
в пестрядевый реестрик ваш
то, что действительно красиво,
то, что я взял на карандаш –

пусть незаточенный и блёклый,
но тем не менее живой,
как Заболоцкий ли, как Блок ли,
как полусонный шёпот мой...

* * *

Зачин здесь не особо важен,
поэтому пока молчи,
пока из бессловесных скважин
не вырвутся к тебе ключи,

а подберёшь – уже не важно,
какой сокрыт замок в двери,
предайся вечности бумажной
и говори. И говори!

* * *

Так любит гонимого зверя
Охотник, наведший прицел,
Я раз в миллионный изверюсь,
Что всё же поверю в конце.

Но вот, от безверья трезвея,
Я всё же надеюсь пока,
Что хватит сноровки у зверя,
Заклинит курок у стрелка.

* * *

Лёше Котельникову

Друг мой милый, запиленный рэндом,
сохрани мой нетронутым слух
здесь, где бред, становящийся брендом,
отработан, линеен и сух.

Открыватели новых голландий
в подворотнях плывут на закат,
никаких не давая гарантий
зачинателям новых блокад.

Небо кашляет, снег фиолетов,
нависает декабрь палачом,
говорит мне в наушниках Летов,
соглашается с ним Башлачёв,

чтобы мы никогда не робели
перед ложью бесформенных спин.
И об этом же – Костя Арбенин,
и об этом же – Янка и Сплин.

Так иди же, собравшийся с духом,
умирать или пьянствовать в сквер,
уловивший отчаянным ухом
беспросветную музыку сфер.

Посреди обезумевших прерий,
где тебя всякий фраер пасёт,
если что и спасает, то плеер,
если что и угробит, то всё.

* * *

А рыбу – ещё плывущую – уже покрывает кляр.
Звероподобные дети маслят глаза об телик.
Курит на клетке лестничной кашляющий школяр,
а за спиной его скачут по стенам тени.

Прошное хищно хватает кусок-другой
жизни моей, взбаламученной и школярской.
Пошло шипит асфальт под моей ногой.
Воет протяжно в наушниках Эдмунд Шклярский.

До пункта В не дойти, не вернуться в А.
Пой, прощельга, смейся, скандаль, юродствуй!
Это слова, это только одни слова –
жалкая смерть длиною в абзацный отступ.

Ну а за нею тихий калека-бог
прошепелявит: «Что же ты так, пацан-то...
Там в пункте В плачет твоя любовь,
стыдно ей на тебя, горестно и досадно.

Ты возвращайся туда, где слепой торшер
кланяется твоей вечно измятой койке,
я понимаю, что горько в твоей душе,
и потому на столе бессменна бутылка горькой.
Но возвращайся...» – бросил он и исчез.
По возвращении – только раствор рассвета
шторы пропитывал, под одеяло лез.

Жизнь кончалась, но начиналось лето.

* * *

Окно засасывает улицу
в глубины комнатной утробы,
а по гортани гул прогуливается,
молчание озвучить чтобы.

Весна, большая, как Лефортово,
ведёт по мне свои зарубки,
чернеет тело телефонное,
сводящееся к трупу трубки,

недавно голос твой насмешливый
расслаивавшей, как пирог,
теперь – гудочками неспешными
расчерчивающей порог

разрушенной коммуникации,
накрытой траурным сукном.
А за окном цветут акации,
но это – только за окном.

И я ношу с собой, как запонки
из неизвестного металла,
твои слова, цвета и запахи,
твои рыдания и метанья.

Мои стихи проходят рюмочными
и композициями рамочными,
державные, как будто Рюриковичи,
но насмерть прямо в рифму раненные,

до музыкальных жил изрезанные,
водой солёной наспех смазанные,
незримыми уходят рельсами –
поодиночке, а не с массами,

и новые слова икаются,
как чьей-то памяти последствия,
и мыслей жёлтые икаруссы
идут маршрутами последними,

взмывают новыми канцонами
под потолок угрюмо-низенький, –
и не желают закольцовывать
невроза явственные признаки.

* * *

Однажды мы проснёмся утром,
возможно, в домике с трубой,
в пространстве правильном и мудром,
перемешавшем нас с тобой.

И ты расскажешь мне подробно,
не упустивши ни аза,
о том, что видят исподлобья
твои пытливые глаза,

куда счастливая монетка
вчера пропала без следа
и кто этот нектарный некто,
определивший нас сюда,

и что нас раньше отделяло
и как объединило нас
одно большое одеяло –
широкое как парафраз.

И в рамках сумрачного жанра,
в который вписан этот стих,
без страха штампов и пожара
одну закурим на двоих.

И вспомним – были одиноки,
в воздушной кутались броне.
И страх, который эти строки
сейчас нашёптывает мне.

* * *

Восходит новая трава из-
под растерянной земли,
и резвые звенят трамваи,
круглы их морды, как нули.

С тобой мы преданы пороку,
но также преданы мечтам,
за нами вором по пятам –
веснаидётвеснедорогу.

И облако, как пиво, пенно,
и мы – немного смущены –
тайком выдёргиваем перья
из белоснежной тишины,

звучащей благостною мантрой
другим обещанного дня
в контексте будущего марта,
где ты не встретила меня.

* * *

В моей руке лежит твоя рука,
и поезда срываются со станций,
а в небе проплывают облака –
спокойные и мудрые, как старцы.

Такие вот картинки невпопад
врезаются в мою глухую дрёму,
стихами Пастернака плачет Сад,
домысленный, как комментарий к Дому.

Идиллия не умирает в фарс,
но остаётся светлой и укромной,
пока я наконец не крикну фас
голодным псам печали неуёмной,

когда монетка, падая орлом,
вновь выйдет мне незримою решёткой,
и голос мой сорвётся на излом
не сохнувшей, но пересохшей глоткой,

и пальчики свои ты разожмёшь,
отправившись к хорошим и знакомым,
и нервной окончательности дрожь
повиснет и над Садам, и над Домом.

И подлинная грянет неудача,
что значит, как ни странно, – всё не зря.
Не сожалея, не зовя, не плача,
петли не мыля, бритвы не остря,

я стану спать сном крепким и пластидным
без сновидений лакомо-пустых.
Я умиротворён – и мне не стыдно,
что я не буду больше видеть их.

* * *

С.

Леска звука прочна, как скала,
как прыжок в бесконечное завтра.
Нынче ночью, пока ты спала,
от тебя я проснулся внезапно.

И шатаюсь, лентяем лентяй,
представляя, как по небосводу
серебристые рыбы летят
и пикируют в мутную воду.

Не расскажет задумчивый ил –
мирно там у них иль перепалка,
но любых соматических сил
на такую рыбалку не жалко.

Ну а я тут хожу нагишом...
да поможет ли логос пологий
нам с тобой, как Оби с Иртышом,
озаботится общей дорогой?..

И в фанерной ночи городской,
от чудачеств своих чуть не плача,
напеваю под нос гороскоп,
тот, где рыбам сулится удача.

И губами цепляю крючок
бытия среди быта излучин,
хоть пока ещё не приручён,
но к наживке подобной приучен.

Я тебе улыбаюсь стихом,
различи в этом тиканье тихом,
в этом нервном брожении глухом
радость быть и дельфином, и психом,

и потом так безрадостно выть
в белизне простыней, как белуга...

Нам ведь нечего будет ловить,
если мы не поймаем друг друга.

* * *

Не замечая метонимий, на кухне выкипает чайник,
сама себя переживая, насквозь ломается вода,
подобно зеркалу, в котором все отраженья замолчали,
и растеклись, и разминулись на годы и на города.

Досадно мне. Я понимаю, что память крошится, как чипсы,
прикуривая сигарету от предыдущей натошак.
Дымят заводы, но тем паче – сегодня небо слишком чисто,
там нету никого, кто знает, что не за что меня прощать.

Спокойно и неторопливо уходит месяц №8,
и осень, подойдя вплотную, устраивает свой offset.
Давай уйдём и растворимся, и нас с тобой не будет вовсе –
друг в друге, в нежности, в молчанье, в стекле, в печали иль в овсе.

Мы заблудились ненароком в пустом дыму нездешних музык,
бессильно противостоящих вневременному гундежу,
но чай стабильно пахнет хлоркой, и за окошком мокнет мусор,
и в строчку тыкается строчка, и я тебя не нахожу.

Мне слишком нелегко смириться, что я тебя почти не помню
(щепоть касаний полусонных и одиночество точь-в-точь),
а смерть лениво и устало сдвигает это утро к полдню,
настолько медленно и вяло, что я хотел бы ей помочь

* * *

М.

Мой город – горестный и гордый –
июнь спускает на зеро.
И каждый недобитый Гордый
на счастье вяжет узелок.

И каждый ангельский разведчик –
лишь задержишься чуть на виду –
развинчен будет, и развенчан,
и предан страшному суду –

расстрелу под дождём и градом
у парковых небесных врат.
Ты этому не будешь рада,
я этому не буду рад.

Но мы с тобою не обсудим,
как бытие идёт на слом,
ни утром чайным и абсурдным,
ни за ночным кофейным сном.

Метаморфозы злые эти:
свалили гости, кончен бал.
Я много знал всегда о лете,
я только о зиме не знал.

* * *

Ты – только мой похмельный бред,
что у зари на страже,
тебя и не было, и нет,
но что не будет – страшно.

Ты – только мой шершавый стих,
печальный и разбойный,
и срок мне вечность не скостит,
что я душой разболтан.

Ты – только мой табачный вздох,
скупая света долька.

Но если я ещё не сдох,
то значит, что не только.

* * *

Что шепчешь ты на ухо тем,
кто не поймёт и не услышит,
пока я в пьяной духоте
теряю потихоньку крышу?

Что говоришь ты им, спеша,
сбиваясь и глотая слоги,
пока похмельная душа
подводит первые итоги?

Они блестящи, как значки,
и я их не обезоружу,
мои усталые зрачки
захлопываются наружу,

чтобы других увидеть – тех,
кого никак не мог увидеть.
И подавить свой смертный смех,
и разучиться ненавидеть.

* * *

И конница окон, и оклика клинок,
двоим постель – побольше, чем полцарства.
Я был с тобой – я не был одинок,
я думал, что не кончится пацанство.
Пацанство кончилось, и сузилась кровать,
и я в себя просыпался, как греча.
И мне, как прежде, нечего скрывать.
Но – открывать... Да чё уж: крыть-то нечем.

* * *

На третьей остановке от тебя
я был с автобуса за безбилетность ссажен
и вышел в мир, беспомощно грубя
всем встречным, ну а ты осталась с Сашей,
иль с Колей ли, а чёрт их разберёт:
все на одно лицо, и то – рябое.
Я сплю и твёрдо знаю наперёд,
что завтра за углом столкнусь с тобою
под серым, кем-то высосанным небом,
лишённым даже оспинки огня,
и извинюсь, а ты пойдёшь за хлебом:
без хлеба жить сложнее, чем без меня.

* * *

М.

Придти в тебя, ослепнуть и оглохнуть,
придти в тебя, в себя не приходя,
весь этот бред – похмельный и огромный
продёрнуть мимо нитями дождя.

Мы посреди осколочного марта
и в вакууме его воздушных ям –
убийственный ты мой реаниматор,
кардиограмма тихая моя.

Тут бесконечность прикипает к мигу,
распарывая всякий циферблат,
и позвонки выплясывают джигу,
минуя тупики шестых палат.

Параличом разбитые пространства
и мы с тобой, ушедшие от них
туда, где обезвреженная паства
нас, наконец, оставила одних;

туда, где, как бы долго ни сличали
с иными нас, ни пеленали в шёлк
бесплотных фраз – случилось не случайно,
что не в себя я, а в тебя пришёл.

* * *

Стоит ли укорять
солнце за то, что село,
если по рукоять
слово уходит в тело?
Или в слепую даль
взгляд устремлять, как мичман,
если моя печаль
миру омонимична?
Нет, мы совсем другие,
не по пути с мальками,
вечные андрогины
мира кривой амальгамы.
Забавно – любовь разменять
осколками битых тарелок...

Так смотрят часы на меня,
как ты, уходя, посмотрела.

* * *

А.

Мы были. Спорили с метелью
и говорили невпопад
слова красивые смертельно,
как Рейхенбахский водопад.

И до того договорились,
что стали ощущать во рту
тоски свинцовую ванильность
и каменную пустоту.

Мы слишком долго покупали
за кому комнат, стены стен
возможность совершать губами
невысказанного обмен.

Теперь ли, проморозив горло
над раскалённой Невой,
друг в друге узнавать другого
и отречься от него,

и нервничая, и мельчая,
жизнь расплетать на волоски.

Чего молчишь?! Твоё молчанье
мне эхом отдаёт в виски.

Я пред тобой уже спалился,
что от любвей давно привит.
Но вот мы тут. Какая линза
наличие наше искривит?

Каким нас заарканят лассо,
каким спугнут нас ярлыком,
когда мы лишь себе подвластны
и сахарным скользим песком

меж пальцев дремлющего бога,
и, мимо всех святых сквозя,
уходим в дебри диалога,
который высказать нельзя.

* * *

Чужие взгляды бьют под дых,
но твой – невыносимо точен,
и эмбрионы запятых
сменяют безысходность точек.

Кипит письмо и стынет чай,
пока приказывает слово
не уточнять, а утончать
приметы счастья бытового,

не умерять, а умирать,
вовсю разменивая силы
на то, что вымолвить пора,
на то, что непроизносимо.

Но клапанов сердечных шум
взял аритмическую ношу,
и я её произношу
и каждый раз себя итожу.

Смотри же на меня насквозь,
чтоб под твоим предельным взглядом
во мне заветное сбылось,
не обернувшись личным адом.

* * *

О, как стенные трещины узорны!
Мир герметичен и геометричен.
Люблю тебя, как Данте – Беатриче,
И размягчаюсь, словно звук сонорный.

Смотрю в окно, а там пейзаж неброский,
Под глазом неба пыльные мешки,
И набело, не делая наброски,
Пишу тебе влюблённые стишки.

И пахнет время пряником с корицей,
И воздух рвётся изнутри на части,
И хочется чему-то покориться,
Чтобы не сдохнуть от такого счастья.

Гармония не делится на три,
Как две уснувших в пачке папиросы.
Не задавай дурацкие вопросы,
А пристально в глаза мне посмотри.

* * *

Я говорю, что – сдохну не любя,
а сам – всё норовлю тебе под платье,
вживаться в маску самого себя –
не самое приятное занятие,

исчёрканное рвётся полотно,
над ним не грех расплакаться для вида,
а где лицо и было ли оно –
уже давно и прочно позабыто.

И ты напрасно смотришь на меня,
упрёшься лишь в картонные глазницы:
сильней любого страстного огня
той лжи жирок, что между слов лоснится.

Я – скопище раскрашенных пустот,
а пустоту ничем не покарябать:
ни быстрых рифм мерцающим хвостом,
ни зудом бесконечных покаяний.

Гул бытия в коробке черепной
вышвыривает прочь из нормативов,
но я вступаю в день очередной
и тут же становлюсь себе противен.

И, вдавленный с утра в трамвайный фарш,
в поток метафизических хреновин,
я чувствую, что только неба фальшь –
единственное, в чём я невиновен.

И это крах. И только пара крох...
(Любовная в щепу разбита лодка),
но незаслуженная малая щепотка
тебя – и я ещё не вовсе сдох.

* * *

Щека к щеке, к слезе – слеза,
и как-нибудь перезимуем,
пока всё те же адреса
у наших гиблых поцелуев.

Мои тебе и мне – твои,
дорогу не забыли губы,
мы мирозданию не любы,
так что скрывайся и таи

все наши нервные дефисы,
враньё ворон, равнин рваньё
и что в душе блуждают лисы,
хвостом сметая бытиё.

Мы отогреемся едва ли,
но там, куда тепло несём,
узнают, как мы зимовали,
и всем расскажут обо всём.

И мальчик с девочкой, быть может,
покинут свой фанерный храм,
чтобы о них узнали тоже
по смёрзшимся в стихи словам.

* * *

Когда по пятнышкам родимым
мы избегали личных встреч –
сошедшие с дагерротипов
и обречённые на речь,

когда себя в себе подспудно
давили мы, как черемшу, –
в округе было многолюдно
и слишком вещно, чересчур.

Теперь остались только буквы,
песочный буквенный рахит,
ни черемши уже, ни брюквы,
ни наклонившихся рахит,

под коими рыдать так сладко
с тобой тогда могли бы мы...
а нынче – стадия упадка,
а дальше – стадия тюрьмы.

Так жизнь над нами измеилась,
не становясь ничуть новей,
и всё же – что-то изменилось
на фотографии твоей.

А может быть, моя сетчатка
ей до краёв уже полна.
Реальность – это опечатка,
и вряд ли наша в том вина.

* * *

Ножичком я дырочки в баночке дырявлю
из-под газировочки в банке жестяной,
висну белой ниточкой между сном и явью,
надеваю в холода свитер шерстяной.

А душа надраена, словно пол в казарме,
ей бы всё наплакаться, а её на плац.
Ты ложись, любимая, чтоб дожить до завтра:
нас с тобою примет мой старенький матрац.

Мы обиды выстудим, всех пошлём по матери,
да и станем здесь с тобой тихо зимовать.
Кукиши вам с маслицем, палачи-каратели,
да пушком земелька вам – мягкая кровать.

Буду дальше дырочки ковырять я в баночках,
только и осталось что – ты да шалый бред.
Мы с тобою самая миленькая парочка.
Приходи-ка с ножичком – резать белый свет.

* * *

Л.

Продай меня в розницу,
запри меня в ризницу,
и смерть не допросится,
и жизнь не приблизится,

любовь не приблазнится,
тоска не набросится,
какая тут разница,
раз – чересполосица?!

Так брось в меня супницу,
пошли меня в задницу,
что ты не преступница –
меня не касается.

В палате из пластика
не треснет надкостница.

И звери не ласться,
и люди не косятся...

* * *

Тупую преданность топя
в агонии вещей,
влюблён в отсутствие тебя,
в отсутствие вообще.

Не сообщай и не пиши,
что счёт со мной свёден:
я был пожизненно в пажи
тобой произвёден.

И пажество мне пожинать,
по жести говоря,
ты не сестра мне, не жена,
но всё равно не зря

тогда произошло, потом
ты поняла сама:
моё безумие – фантом
дискретного ума,

в моём бессилии стрела
дремотных гулких сил,
которых ты мне не дала,
а я и не просил,

ведь я в конце концов поэт:
с листа лечу листом,
а ты – всего лишь силуэт
на месте на пустом.

* * *

Какие, милая, обиды?
Молчишь? Не бью в набат и я...
Мои метафоры обиты
материей небытия.

Мои содомы и гоморры
садовым гомоном струны,
как праздничные приговоры,
спокойно проговорены.

Ахилла так не звал Патрокл,
слова бессвязные шепча,
покуда Гектор не потрогал
его конечностью меча,

как я к тебе взывал когда-то
среди дремотных мелодрам
и зёрна траурные мата
мешались с воплем пополам.

Теперь мой голос запаролен
и мягок, словно поролон,
от бесконечной паранойи
ушёл в иные волны он.

И ложь, писклявая, кривая,
стекает, как вода с гуся,
с меня. Так стой и жди трамвая,
ни слова не произнося.

* * *

А жизнь очень коротка,
а между строк – несметна.
Я видел два живых цветка
за пазухой у смерти.

Она шла с ними под дождём
и чуть дождя касалась.
Я абсолютно убеждён,
что мне не показалось.

С тех пор я очень молчалив
и сумрачно непрочен,
но силою густых чернил
везде рассредоточен.

И мне не страшно наяву
идти к себе кругами
и видеть, как не-я живу
в безглазой амальгаме.

Ф.Н.

В душе его немало душных шахт,
меняет маски, чтоб не быть распятым,
пока звучит в расстрелянных ушах,
как песня пса, рапсодия распада.

Кричит верблюд и воет соловей,
а он, налитанный уже коровьей кровью,
сильнее стал, бодрей и здоровей.
(Болезнь – точка зренья на здоровье).

Спина раба всегда отыщет плеть,
Но, пустоглазья презревшие баранью,
сумевшие себя преодолеть,
увидят солнце за победной гранью.

И солнце упадёт пред ними ниц,
шеренги нарушая вековые,
и сотни тьмою выдубленных лиц
узнают радость стать собой впервые.

И будет сброшен с плеч ослиный гнёт,
мораль окажется гнилой и бесполезной,
но всё-таки от них не отвернёт
свой мутный взгляд трепещущая бездна.

А он уже безумием продрог,
и Овербек всюю обеспокоен...
Мы не подняли то, что нам предрёк
последней битвы одинокий воин.

Памяти Рыжего, Башлачёва, Мишина

Беременные небом облака
плывут туда, где созревает слово.
Оно ещё дозреет, а пока
поэту одиноко и херово.

Разведены-раскрещены пути,
но, завершивший сам себя в полёте,
он лишь тогда предстанет во плоти,
когда уже не нужно будет плоти.

Такой смертельный балаганный трюк.
Чего же вам, Володя, Саша, Боря?
Остервенело трётся звук о звук,
творя музыку и музыке вторя.

Слова... А что слова? Бессилен рок,
когда они кого-нибудь согрели,
но вот тогда-то ухмыльнётся бог
змеистою ухмылкой Сальери.

И вот тогда мы кой-чего поймём
и кой о чём серьёзно пожалеем,
потом запьём, оставшись при своём,
нам не летать – раз воздух тяжелее.

Потери бесконечны и горьки,
случайны и минутны обретенья,
а смерть несётся наперегонки
с ещё несостоявшимся рождением.

В сплетенье слов немая тишина,
в овал петли проглядывает нота.
Схватить её! Но плеть занесена.
И надо петь, да не поётся что-то.

* * *

С тех пор, пока не будет больше смерти,
пугать рассогласованностью фраз
мне некого: здесь слишком много смелых,
но смелость вся выходит напоказ.

И всё идёт достаточно цивилично,
дрожат кулисы, заняты места,
но грифель проникает в сердцевину
обычного тетрадного листа.

И циферблат с улыбкою акульей
глядит в глаза уснувшим наяву,
и между строчек гулкие лакуны
слова глухие держат на плаву.

Так сумрачно, так далеко от века,
так ненавязчив ядовитый пар,
и быть немного больше имярека –
последний твой случайный гонорар.

И больше вроде незачем пластаться,
и можно тихо лечь ни для кого.
Но не прощает этого пространство,
а время не прощает ничего.

* * *

Куда несёшься ты? Твой негатив засвечен,
проявщик в жопу пьян, а проявитель сдох.
Остановись, взгляни: вокруг уже не вечер,
а из оконных рам растёт таёжный мох.

Как называть тебя, и твой ли это город?
И твой ли это мир, уж коль пошло на то?
Какая пустота твоё сознание горбит,
где на коне в пальто гарцует дед Пихто?

Неполные пять лет лирического стажа
оставили на мне значок кровавый свой.
Я в зеркале тебя узнал, и стало страшно,
и страшно до сих пор. А значит, я – живой.

* * *

...божишься бросить, начинаешь заново
и ничего не понимаешь сам,
читаешь наизусть стихи Губанова
бальзаковского возраста мадам,

буравишь потолки, глотаешь мультики,
занюхиваешь водку рукавом
и на бумагу льёшь потоки мутные
такого, чего нет ни у кого,

не можешь объяснить, молчишь безудержно
и вдавливаешь девочек в матрас,
да извергаешь помощней Везувия
с утра проклятья миру, матерясь,

зависнув меж людьми и поэтами,
не можешь ни подняться, ни упасть,
и точно знаешь, что хотел не этого,
но властвуешь и не меняешь масть...

* * *

*Россия! Родина!.. Слонов,
Велосипедов, водорода...
Что ни любовь – любовь до гроба.
Что ни поэт – то Тягунов!*

Р. Тягунов

Над нишей щерится Россией
языческих времён оскал:
Иван за косы Ефросинью
по всей деревне оттаскал,

а пудель в розовых колготах
промчался с лаем по Тверской,
его поймали эмоготы,
сожрали и ушли с тоской.

Братки вернулись из полона,
упала пьяная звезда,
а водка здесь всегда палёна,
не больше, впрочем, чем вода

обычная, да и святая,
в патриархии мёртвых душ,
и ангелы, сюда слетая,
обратно не взлетают уж.

Доколе, вопию, доколе
сей топос будет столь суров?!
Что ни любовь – любовь до койки,
что ни поэт – то Комаров!

Питер

На Васильевском острове плавленный ел я сырок,
я бы мяса поел, только денег уже не осталось,
уезжать не хотелось, ведь здесь даже в крике сорок
что-то слышится, кажется, будто бы из Мандельштама.

Я влюблён в прямизну этих мощных уверенных линий,
что томление пространства практически сводят на нет:
рассекаешь по Невскому, словно какой-нибудь Плиний,
а не как по Свердловску убогий свердловский поэт.

Питер, я прорастаю в тебе до упора,
до излома сетчатки, до звона пустых позвонков,
я тебя увезу далеко за уральские горы,
Питер, я тебя в строчки упрячу и буду таков.

Вечереет уже, и в Неве, как в зеркале летейском,
отражается всё, что я знаю теперь наизусть,
и туманное небо щекошет шпиль адмиралтейства,
и, пришпорив коня, Пётр топчет посконную Русь.

Послезавтра уже поднимусь я немного фатально
на родной и привычный заплёванный третий этаж
и по дням потеку с безмятежным спокойствием Фонтанки,
утешаясь лишь тем, что зафоткал я весь Эрмитаж.

Но доеден сырок, и осталась одна лишь сорока,
неспокойно бедняге, кроит побледневшую тьму,

и на этот раз чудится что-то как будто из Блока,
и молчит Петербург, но отвечает вечность ему.

* * *

Мы слили мысли в мыслеформы,
не докрутили только винтик,
когда слепой идёт к слепому
и слепоты своей не видит,

когда глухой идёт к глухому
и глухоты своей не слышит,
и учит нудно сплошь плохому
нас пресловутый голос свыше.

Так расскажи нам, о мудрейший,
ту часть из старого рассказа,
где чащи, ведьмы, омут, леший
и лишний, что во всём раскаялся.

Мы здесь из-за большого стресса,
он вовсе не единоразовый.
Нам нравится такая пьеса,
почаще нам её показывай!

* * *

Диван ли, кресло ли, софа ли –
всё проседает и скрипит –
бежишь, как тигр на сафари,
но кто-то вечно жмёт repeat.

И над тобою без движенья
свисает небо, как скала,
и сцеживают отраженья
беременные зеркала.

Сухие сновидений иксы
да игреки пустых картин
из горла высекают искры,
насквозь трахею прокоптив.

И ждёшь, как под ребро удара,
небытия из-за угла,
и угораешь от угара
взрывающегося котла

своей башки неплодородной,
насоса зачумлённых сем.
И с ангелами по дороге
уматываешь насовсем.

* * *

Однажды ночью я плеснул
в окно плохой воды из банки,
и ночь лизнула белизну
своей измученной изнанки.

А я – поскольку не святой –
налил в стакан воды угрюмой
и с той наедине водой
остался, да с вселенской думой

почти до самого утра,
покуда не свалился на пол
и, бормоча – пора, пора, –
ковёр ворсистый грубо лапал.

А что пора? кому пора?
Зачем пора? да и пора ли?
О том не ведал нихера
я – чуждый всяческой морали.

И обернулся чернотой
день предначертанно-случайный,
и я валялся с червото-
чиной в душе своей печальной.

И рассыпались все миры,
и разбивались все граали,
ведь выпил я за семерых,
которые меня не ждали...

И снова здравствуй, злая ночь,
и вновь привет, вода плохая.

Попробуй, сука, превозмочь
инерцию, вот так бухая.

Но я не пробую, увы,
и, беспробудностью согретый,
я просто жду тебя у вы-
хода из гиблой жизни этой.

Ты можешь не звонить в звонок,
а выбить дверь туфлём с размаху,
а можешь принести венок
и поминальную рюмаху

оставить местному бичу
по имени, допустим, Борька,
и долго зажигать свечу,
и не зажечь, и сплунуть горько,

да неуверенной стопой
отправиться за важным делом
ко всем, которые с тобой
на этом свете чёрно-белом.

* * *

Бывало, выйдешь из запоя
и не увидишь ничего,
что раньше не было за полем
чужого зренья твоего.

И вспомнишь с грустью и печалью,
как, одинок и невесом,
ты паникёрскими ночами
крутился в койке колесом,

и как зрачки твои метались
меж одинаковых ковров,
и как друзья тебе пытались:
сказать: «ты, братец, нездоров,

но до сих пор не безнадёжен...»
Слова отодвигали боль,
и в глотку падал, словно ёжик,
комком колючим алкоголь.

Но ты был птице рад и зверю
и возглашал, как манифест:
«Я никогда не протрезвею!»
И продолжался мрачный квест

по кабакам и переулкам,
по комнатам и по дворам,
и на столе в застолье гулком
стоял стакан, как будто храм...

Но вот проснёшься с кем-то рядом,
как на сковороде налим,

и местность озираешь взглядом,
различной жаждою томим,

а в местности – немного милых
пейзажей глазу твоему...

И серафимов шестикрылых
ведут стрелять по одному.

* * *

Вернёшься ночью пьяный в стельку,
башка пустотами полна,
и бешено бросаешь в стенку
слова, как в детстве «лизуна».

И смотришь, как они сползают
зелёным слизистым комком
всё ниже, ниже, – да – пол залит
дешёвым мёртвым коньяком.

Опять – коньячные разводы,
гороховая каша слов...
и телик ноет про свободы
и равноправие полов –

их одинаковую плоскость,
столь родственную потолкам,
и выбрать жизнь и смерть так просто,
как выбрать – ПАЛ или СЕКАМ,

а кто-то брызжет кока-колой,
а кто-то желчью и слюной,
а ты лежишь в постели – голый
и офигенно несмешной,

втыкаешь в пошлые киношки,
чтобы забыться как-нибудь,
пока отчаянные кошки
скребутся где-то слева в грудь...

Проснёшься и узришь нечастый
похмельный дождик. Или снег.
И бог молчит. И все несчастны,
как самый первый человек.

Къ Дулепову

*Так чисто выбрился, что впору
застрелиться
В. Дулепов*

Небрит настолько, что почти бессмертен.
Так часто бриться – это не моё,
я здесь, как посторонний перевертень.
Изнаночный привет тебе, Маёр.

Но, временами выходя из мира,
читай – из бытового забвения,
я вижу: у меня «чувлива шкура»
написано на креме для бритья –

«чувствительная кожа» по-хохлацки,
как тайный знак, откуда я такой:
и эти лихорадочные цацки,
и бритвенный вот этот беспокой,

и водка-пиво-водка-водка-пиво;
хотим тонуть мы или не хотим, –
пластайся, коли шкура столь чувлива,
без права нарастить на ней хитин,

который у иных всюю нарощен;
но посреди избыточных вещей
я постараюсь быть немного проще...
Пойду побреюсь что ли вообще...

* * *

Закрыв опять тетрадь на карантин,
чтоб бешенством стихи не заразились,
я будто бы в себе укоротил
ту пустоту, что мнится за Россией.

А над Россией мнится типа бог:
озлобленный стареющий невротик;
я только здесь учуять это смог,
где Азия целуется с Европой,

где камень так простуженно сипит
под бурами, ломами и кирками,
Урал кивает дальше – на Сибирь –
огромными и грубыми кивками,

и временами до зарезу, блин,
в густом патриотическом накале
охота долго целовать рубли
и Бельгию идти топить в Байкале.

И можно рвать до одури баян,
раз степень оглушенья нулевая...
Тетрадь открыл – стихи переболят:
здесь всё обычно переболевает.

* * *

Когда ты сделан не по ГОСТу,
когда один ты в тишине,
то расстоянье до погоста
тебе уменьшено вдвойне.

Когда не стиснут берегами
пространства бесконечный лёд,
она тебя подстерегает,
она тебя подстережёт.

На дне стаканов киснут даты
и нервной грифельной резьбой
вод кистепёрые солдаты
ведут подлёдный свой разбой,

скрываясь в водорослей дзотах,
усами жадно поводя...
А ты – живой на восемь сотых,
а ты – немного погода

своё не стерпишь поражение,
что не нашёл себя нигде,
и взледенеет отраженье
в никелированной воде.

Таким и я был миру явлен:
мас юобос – собою сам.

Мой шарф цветаст. Мой вид подавлен.
Моя свобода не по вам.

* * *

На столе стоит холодный кофе.
Я уже давно не Холден Колфилд.

Да и дело тут не в кофеине,
Просто небо, как фильма Феллини.

Просто порастратил всю отвагу,
Просто стих уже не жжет бумагу.

Просто ни братишки, ни сестренки,
Просто вековечны шестеренки,

Что в часах друг другу зубья точат,
Мне уже не досаждая, впрочем.

Рвется жизнь, как будто киноплёнка,
потому что рвется там, где тонко.

Понемногу затихает треньё,
Зрелость уменьшает силу зренья.

Горло сипнет и поет неверно,
Так все и кончается, наверно.

Это арифметика простая,
Я спокоен, сам в себя вראстая:

Все, с чем к богу я приду с повинной,
делится на восемь с половиной.

* * *

Безветрие. Подайте бури мне,
ведь скоро мне не надо будет бури.
Мы с зеркалом играем в буриме,
оно со смертью жизнь мою рифмует.

Придуманные пляски на ноже
кончаются нелепей с каждой строчкой;
из знаков препинания уже
я всё дружнее не с запятой, а с точкой.

Не те слова, мелодия не та,
что мне играла в беззаботном детстве:
в мои, кажись бы, скромные лета
почил уж Веневитинов чудесный.

Ещё чуток – и Лермонтова я
переживу, живучая скотина.
Мне скажут, что я жизнью провонял,
что стих мой – обезвреженная мина.

А далее Есенин там попрёт,
а дальше – Пушкин, Байрон, Маяковский,
и, не дай бог, вперёд меня помрёт
какой-то нежный верлибрист московский.

Но бог не даст. Он сдачи не даёт,
а стихотворство – вовсе не от бога.
Зажился я... На лестничный пролёт
пойду курну – убью себя немного.

О.М.

Такой тебе путь предначертан
твоей диковатой луной,
и снова в почётную Чердынь
твой поезд идёт ледяной.

Мальчишка. Мечтатель. Мучитель.
Молчанья сырого мясник.
Свет слов и ночных и мучнистых
ты вылушил и прояснил.

Но страшные стражи не спали,
и вот до коричневых слёз
терзают охрипшие шпалы
губами дрожащих колёс.

А в сон твой последним посольством
из мира без страхов и бед
приходит солёное солнце
и зренью ломает хребет.

И века чердачная осыпь,
и голоса дробная сыпь.
Ну здравствуй, раб божий Иосиф,
а ты не ответишь – осип,

заметишь лишь на автомате
во мгле, что лютей и лютей,
лежащих, как рыбы в томате,
тебе незнакомых людей.

«И мне будет с ними не тесно –
подумаешь, экая блажь».
И тела обмякшее тесто
на божьи бисквиты отдашь.

* * *

Такая ночь на свете белом,
такая тьма и тишина,
что понимаешь только телом,
насколько гибельна она.

А звёзды скалятся недобро
и всё зовут меня туда,
где ледяные лижет рёбра
беспозвоночная вода,

где вечно безответно эхо,
насколько громко ни кричи,
где тихо тлеют тонны смеха,
спрессованного в кирпичи,

там даже дышится натужно,
там уязвима вся броня.
Я знаю: мне туда не нужно,
но кто-то знает за меня.

Поэты все уходят дружно
однажды в эти ебенья.

* * *

Не клоун, но клоуна клон,
эрзац несмешного паяца
выходит к толпе на поклон,
пытаясь толпы не бояться.

Выходит, утратив задор,
стремительно падая духом,
и каждый гнилой помидор
свистит, словно пуля над ухом.

Чванливо плюются отцы,
мамаши ворочают крупом –
желейный колыхнется цирк,
теряя свой цинковый купол.

Среди этой адской возни,
в постыдной щекотке испуга,
стоит он за них. И они,
ей-богу, достойны друг друга.

* * *

*Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним*

В. Высоцкий

Я ухожу в начальное, в ночное,
в нечаянное чёрное окно,
немногие последуют за мною,
для многих не заманчиво оно.

А мой туда слепой направлен вектор,
я вспоминаю, как метал и рвал,
и всей неэффективностью аффектов
фиктивность жизни не перекрывал,

как шла она от ГОСТа до погоста,
вязала руки, скалила углы,
и лишь одно родное эпигонство
меня вжимало в грязные полы,

в бесполье меня толкало речи,
пустые, как соматика сама,
и довело теперь. И мне не легче,
что это горе — ох, не от ума,

а от безумия, простительно-простого
и сладкого, как пряники в меду.
Но пусть я буду переаттестован,
когда Ему долги сдавать приду.

* * *

Горит звезда. В окно струится ночь —
нет лучше для стиха инварианта.
Но, фабулу пытаюсь превозмочь,
клубок из рук роняет Ариадна.

Пульс нитевиден. Голова болит.
Со всех сторон рассеяна Расея,
и звуков тупиковый лабиринт
теснится в горле пьяного Тесея.

Осиротел лирический плацдарм,
но боль в виске пульсирует не к месту —
всё это нужно, чтоб была звезда —
«Послушайте!..» И далее по тексту.

Маяковский

Тянет выть по-волчьему,
на строке вися,
степь — поэта вотчина —
выжженная вся.

С петухами ранними
запевает смерть,
молодой да раненый
будет кровью петь.

Крик, что помаленечку
движет умирать,
возвращает в темечко
эхо-бумеранг,

и косу прибрежную
точит океан,
будет всё по-прежнему:
слёзы и туман

сигаретный, реющий
над пустым столом,
любит он зверей ещё:
звери греют дом.

Мутная и пенная
влага льётся с крыш.
Отзовись, вселенная,
что же ты молчишь?

Я тебя упразднюю!
Я иду на вы!
Катится напраслина

пеньем горловым.
Под телами потными —
вечная кровать,
ничего не поняли —
нечем понимать,

коньячок был марочный,
все навеселе.
Рядом с фотокарточкой
маузер в столе.

И — в дома терпимости,
как шлея под хвост.
Выпало же вырасти
прямоком до звёзд!

Под смешки всеобщие
весь душой продрог,
по гудящей площади
двинулся пророк,

окон створки-устрицы
хлопали в дыму,
и глядели улицы
тихо вслед ему.

Давит в переносице,
и в глазах круги,
по векам разносятся
гулкие шаги.

В небо над киосками
вышел Человек.

Площадь Маяковского
укрывает снег.

* * *

Мне не хватает дозы веры
и чудится уже вблизи,
как празднично открыты вены
и век закрыты жалюзи,

как в маленькой уютной зальце –
допустим, в зальцбургском дворце –
труп Моцарта терзают зайцы,
большой предчувствуя концерт,

как в чистом поле мёртвый иней
античный образует крест
и толпы белые эриний
берут Ореста под арест,

как раскалённую калиной
гнилые зреют кадыки
и Мессалина мескалином
питается с моей руки.

Кого ещё не опьянили?
Кто здесь в безумии нагом
сплошные видит Апеннины
под грандиозным сапогом?

Спокойнее! На всех не хватит
надёжных гипсовых рубах,
и будем мы, как кровь на вате,
чернеть в сугробов погребях.

Таким ли страхом будет куплен
сухой остаток мокрых дней?
И ласточка летит под купол,
который рушится над ней.

* * *

Бог забит молотками молитв,
бога нет, бог не чувствует боли,
у меня же – бумага болит
и звенит, словно русское поле.

Говорили: ты сходишь с ума,
говорили: ты бес лицедейства,
но молчала, молчала зима,
позволяя в себе отсидеться,

позволяя одними губами
заменять непростой карандаш.
Улыбался СашБашу Губанов,
жал Губанову руку СашБаш.

Приходили и братья и сёстры,
словно бились об лёд осетры.
Имена их беспомощно стёрты –
до поры, до поры, до поры.

И на восемь – лиричные – строчек
паровозом я боль перевёз
посреди обезвоженных кочек
да в изножьях кровавых берёз.

Не прибавить уже, не убавить,
не разбавить ничем антураж,
ибо здесь – непонятен Губанов,
ибо здесь – невозможен СашБаш.

И лисицами пожраны зайцы,
и без шага шагает нога,

только небо с любовью эрзацной
всё глядит свысока на снега.

Кто же тут резюме нарисует?
если умер, как сказано, бог,
если стих мой изюмом безумья
запечён в этот сладкий пирог.

Мне себя самого полужалко,
а иных я не смею жалеть:
мне девицей в цветном полушалке
лихо косы раскинула смерть.

Так дадим плачу-хохоту ходу,
ни петле не дадим, ни ножу.
Эй вы там, мне ещё неохота.
Я пока ещё здесь посижу.

* * *

Я так хотел поверить в бога,
но бога было слишком много.

Когда его осталось мало,
меня того уже не стало.

А верная наказам паства
живёт светло и безопасно.

Один лежит линиялым линем,
прикрывшись выцветшим амином,

другой по небольшой уценке
глаголы продаёт у церкви,

а третий в гору вечный камень
несёт дырявыми руками.

Кресты краснеют, как малина,
и обездвижена молитва.

Я вижу небо, а не бога,
и это страшно, но не больно.

Как к бритве вздувшаяся вена,
ко мне моя приходит вера.

Но смотрит кто-то из киота
на сказочного идиота.

Послесловие

Человек-вулкан. Крайне отличный от того, что просыпается раз в сто лет. Константин Комаров – молодой, постоянно действующий вулкан.

Каким мне видится штрих-код его художественной продукции? Первая составляющая – соответственно, лавоизвержение, – но принципиально не то, которое «вполне типично для молодости». Комаров, при всём своём буйстве молодого кентавра, даже отчасти старомоден: его безоглядная, «чумовая» страсть к изящной словесности, то есть его совокупная сущность, словно бы переносит нас совсем в иную эпоху... Второй элемент: сочетание полюсов. А именно: точный, резкий удар, идущий как раз от молодой, крепнущей силы – и отправляющий поделника-читателя в неизбежный нокаут – диковинно и даже как-то диковато соединяется в этом поэточеловеке (нерасторжимость, тоже реликтовая) с мощной общегуманитарной базой. Которая являлась естеством для художников совсем другого, гораздо старшего поколения. Третьим же компонентом его раритетной энергопоэтики является – и вот это главная для меня неожиданность – тот тип иронической, изошрённой и абсолютно беспощадной рефлексии, свойственной – да, речь о конце 80-х, – блистательной команде поэтов, вкальвывавших в краткий период of great expectations...

Константин Комаров – абсолютно штучен, но, не исключено, что и репрезентативен. Иными словами, борьба негнбимых одиночек на оккупированной силиконовыми муляжами территории, противостояние бунтарей этой вездесущей бабской барахолке, усиливает обороты. Наша партизанская война ширится и нарастает.

Марина Палей

Стихи Константина Комарова – это, помимо прочего, результат превращения холодной и бессобытийной обыденности в зримый и осязаемый факт глубоко осмысленной, экзистенциально весомой жизни. Здесь слово стремится «не различать предметы и имена», т.е. быть равным тому, что оно означает, и само это стремление придаёт ему особую драматическую и подчас даже трагическую окраску. В нём всегда живет энергия радикального обособления от обиходных речевых регистров, как бы сознание собственной необязательности, избыточности, принадлежности к тому, что сам поэт называет «нелепейшей болтовнёй». Свободное движение этой блистательно угловатой, завораживающе небрежной и совсем не беззаботной «болтовни» создаёт пространство, которое ошеломляет своей бытийной подлинностью, и от густо декорированных, гладких пространств окружающей нас повседневности отличается тем, что в нём действительно можно жить

Никита Быстров

Содержание

«Наплевать, что слова наплывают...»	4
«Так ключи живут в кармане...»	5
«Двухцветной пешеходной зеброю...»	6
«Пространство сумерек кромсая...»	7
«Словес обмыленная пена...»	8
Детское	9
«Смотрели, и не моргали...»	10
«До тишины слова убыстрив...»	11
«Слово лежит во рту...»	12
Простыни	14
«Переключить рычаг...»	18
«Выбивая, как пыль из ковра...»	19
«Всё то, что мне ещё не спелось...»	20
«Среди равнин всё реже взгорья...»	22
«За вычетом нервных и злых многоточий...»	23
«Когда ты в чистую страницу...»	24
«... И темнота мне в рот дышала...»	25
«Утром похмельным встать...»	26
«Мерцает вечности плавник...»	28
«Пугливый дождь идёт по зданьям...»	29
«Молчанью не нужен рупор...»	30
«Беспечная, усталая...»	31
«Так пишут в речке вилами...»	32
«Отсутствие вещей ещё терпимо...»	33
«Как элегический дистих...»	34
«Я растворяюсь, как помешанный...»	35
«Крошатся зубы, закисает дух...»	36
«Ни пуля и ни лира ведь...»	37
«Местоименья биполярны...»	38
«Утром утрирован, вычерчен вечером...»	39
«Наверно, стоит быть добрее...»	40
«Бессонница, Гомер, тугие паруса...»	41
Обещание	42

«Язык, я зек твоей...»	43
«Я слышу только ультразвук...»	44
«На перекрёстке в летний полдень...»	45
«Из дому выйдешь. Сквозь людей...»	46
«По не вечному этому городу...»	47
«Не послекусие – изжога...»	48
«Зачин здесь не особо важен...»	50
«Так любит гонимого зверя...»	51
«Друг мой милый, запиленный рэндом...»	52
«А рыбу – ещё плывущую...»	53
«Окно засасывает улицу...»	54
«Однажды мы проснёмся утром...»	56
«Восходит новая трава...»	57
«В моей руке лежит твоя рука...»	58
«Леска звука прочна, как скала...»	60
«Не замечая метонимий...»	62
«Мой город – горестный и гордый...»	63
«Ты – только мой похмельный бред...»	64
«Что шепчешь ты на ухо тем...»	65
«И конница окон, и оклика клинок...»	66
«На третьей остановке от тебя...»	67
«Придти в тебя, ослепнуть и оглохнуть...»	68
«Стоит ли укорять...»	69
«Мы были. Спорили с метелью...»	70
«Чужие взгляды бьют под дых...»	72
«О, как стенные трещины узорны...»	73
«Я говорю, что – сдохну не любя...»	74
«Щека к щеке, к слезе – слеза...»	75
«Когда по пятнышкам родимым...»	76
«Ножичком я дырочки в баночке дырявлю...»	77
«Продай меня в розницу...»	78
«Тупую преданность топя...»	79
«Какие, милая, обиды?...»	80
«А жизнь очень коротка...»	81

Ф.Н	82
Памяти Рыжего, Башлачёва, Мишина	83
«С тех пор, пока не будет больше смерти...» ...	85
«Куда несёшься ты? Твой негатив засвечен...» ..	86
«... божишься бросить, начинаешь заново...» ...	87
«Над нищей щерится Россией...»	88
Питер	89
«Мы слили мысли в мыслеформы...»	90
«Диван ли, кресло ли, софа ли...»	91
«Однажды ночью я плеснул...»	92
«Бывало, выйдешь из запоя...»	94
«Вернёшься ночью пьяный в стельку...»	96
Къ Дулепову	98
«Закрыв опять тетрадь на карантин...»	99
«Когда ты сделан не по ГОСТу...»	100
«На столе стоит холодный кофе...»	101
«Безветрие. Подайте бури мне...»	102
О.М	103
«Такая ночь на свете белом...»	104
«Не клоун, но клоуна клон...»	105
«Я ухожу в начальное, в ночное...»	106
«Горит звезда. В окно струится ночь...»	107
Маяковский	108
«Мне не хватает дозы веры...»	110
«Бог забит молотками молитв...»	111
«Я так хотел поверить в бога...»	113
Послесловие	114

Константин Комаров

БЕЗВЕТРИЕ

книга стихотворений

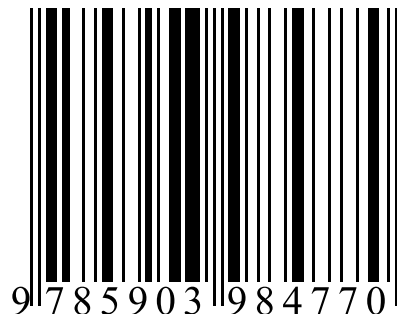
Текст печатается в авторской редакции
верстка Т. Богатырёвой

Формат 84/108
Гарнитура Times.

В соответствии
с Федеральным законом № 436
от 29 декабря 2010 года
маркируется знаком



ISBN 978-5-903984-77-0



9 785903 984770

